

[Оглавление](#)

Лидия Волконская

Прощай, Россия!

(Моя жизнь)

Глава 11. Польша во время Второй мировой войны

"Неужели мы перешли границу, неужели большевики остались там, где-то позади, в темной ночи и ничего больше сделать нам не могут". Ещё не веря, я старалась понять это, входя на станцию Малкине.

Нам сразу уступили место на широкой с высокою спинкою деревянной скамейке. С каким облегчением мы заняли ее, как уютно, тепло, а главное - это удивительное, необычное сознание безопасности. Умом я понимала это, но почувствовать, как-то трудно было.

"И это Малкине - наше спасение, тот так далеко мигающий, недостижимый, как звезда, огонек? Странно - ничего особенного", недоумевала я, оглядываясь вокруг.

Маленькая, слабо освещенная и сизая от густого табачного дыма, зала ожидания была набита людьми. Здесь были и обыкновенные, казалось, пассажиры и крестьяне, и беженцы, как мы, с той стороны границы, возбужденные недавно пережитой опасностью. Были и те, кто собирались перебраться на советскую сторону.

В одном углу даже стоял буфет, где можно было достать горячей воды, и по специальному заказу, молока для Олега.

Поезда в Варшаву, нам сказали, ходили регулярно по расписанию. Первый отходил ранним утром. Мы сидели, не смея еще радоваться, каждый погруженный в свои мысли. Неожиданно наше внимание было примечено какою-то вознёю около двери.

Оглянувшись, я увидела широкую спину человека, пригнутого к полу и прикрывавшего руками свою, низко опущенную, втянутую в плечи, голову. По его спине колотил палкою со всего размаха немецкий солдат, (как я догадалась по его военной форме), громко ругался, потом толкнул несчастного сапогом так, что тот вылетел, как мяч, сквозь, настежь распахнувшиеся, двери. Обернувшись, немец обвел всех испытующим взглядом. Было похоже, что он искал одобрения, или сочувствия, а может новой жертвы, но не найдя ничего, он молча вышел из зала. Никак не ожидая увидеть, что-либо подобное на другой стороне границы, мы подавленно молчали.

Впрочем, мысли мои принимали уже совсем другое направление. Сознание, что через несколько часов в Варшаве, я узнаю об участи моего мужа, поглощало меня, всецело. Предположение, что его уже может не быть в живых, вызывало во мне почти физическое ощущение страха и тошноту. "Где ты теперь, Валечка, жив ли? Что буду я делать, если тебя нет, одна с детьми в этой чужой, неизвестной мне Западной Европе. Боже, смилуйся, помоги"... молилась я мысленно.

Между тем черные впадины окон стали лиловеть, светлеть: наступало утро - утро новой

для нас жизни.

Приехав в Варшаву-Прагу на разбитый бомбами вокзал, мы, ни Юрочка, ни Маруся, ни я не знали, что делать дальше. Ехать к Леле? Но ещё в Ромейках мы слышали, что от Варшавы остались одни развалины. Казалось совершенно невероятным, чтобы де Вассаль жили спокойно, как ни в чем не бывало, на квартире из "прошлого времени". Просидев часа два в подземном коридоре вокзала, служившим залом ожидания, мы заметили, что к нему иногда подъезжали извозчики.

Юрочка решил пойти и узнать у одного из них, не может ли он посоветовать нам какое-либо помещение. К большому удивлению, извозчик предложил отвезти нас в одну из уцелевших гостиниц.

Груды разбитых домов, мимо которых мы проезжали, не производили на меня большого впечатления.

"Понятно, как могло быть иначе", думала я, поглядывая.

Вот среди развалин торчат зазубрины уцелевших стен. В стенах просветы бывших окон, как орбиты выдавленных глаз, или ослепших от слез. Одна из стен оклеена розовыми обоями: "Кто-то жил, оклеил, а теперь его нет. Может и у Лели так же и Валя... Валя... нет, лучше не думать..."

Дальше целый угол, словно пилою отрезанный от разрушенной комнаты. В нем, как декорация на стене, стоит диван, висит перекошенная картина, ветер шевелит на окне занавеску.

"Все то же, все также разрушено, как и у нас. Но это не важно, важно только одно, чтобы Валя был жив. Увижу ли я его еще".

На улице пусто.

"А кому и куда теперь надо ехать?" - мелькали мои мысли.

Два немца проехали мимо; посмотрели на нас, даже обернулись; наверно догадались по нашему виду, откуда мы.

В конце улицы показались целые дома. А дальше еще больше их видно; стоят, как раньше, длинными рядами.

"Удивительно, даже неприятно, не вяжется со всем теперешним: диссонанс какой-то".

Вот хорошо одетая дама, ведет за ручку подпрыгивающего мальчика.

"Если бы мой Олег был бы, уже хоть такой, большой".

Магазин съестных припасов и в нем видно все есть!

Наконец стали: гостиница.

"Вот, вот скоро все узнаю. Может, что-либо ужасное. Нет лучше не надо, не сейчас, лучше позже".

В гостинице свободного номера не оказалось. Только в третьей нашлась для нас комната. Сразу же я попросила послать человека по старому адресу Лели. Было ясно,

что если все благополучно, то Валентин Михайлович или у них, или они знают, где и что с ним.

Едва Маруся, Юрочка и Елена расположились, а я раздела и уложила Олега в кровать, как дверь открылась и Леля бросилась мне на шею.

Я, не отвечая на её поцелуй и отстраняя от себя, глухо спросила:

- А Валя, где Валя?..

Она смущенно произнесла:

- Его... его нет здесь.

Мне показалось, что стены начали поворачиваться, и вся комната быстро, быстро закружилась, но я держалась на ногах и тупо смотрела на Лелю, ничего не видящими глазами.

- Что, что с тобой, разве ты не знаешь? Он в Ченстохове.

Я стояла, онемев, стараясь уловить, удержать, расширить, захватывающую меня радость. Опустившись на кровать и, выпив, стуча зубами, стакан воды, я, наконец, спросила:

- Так, значит, Валя жив? Леля, почему же ты сразу мне этого не сказала.

- Я была уверена, что ты об этом знаешь. Сначала он жил у нас, а потом уехал к Святославу, - ответила Леля.

- А как же я могла это знать? - спросила я.

- Валентин писал тебе, несколько раз писал и передавал через евреев, ехавших в Антоновку. Мы живем по-прежнему на той же квартире; хоть кругом много домов разрушено.

- Ну, Слава Богу! А когда Валя уехал и как он себя чувствует?

- Да, ничего. Увидишь. Мы пережили много опасных моментов, когда сюда ехали.

- А наша квартира в Ченстохове, значит, цела? - спросила Маруся.

- Да, цела. У вас все хорошо. Святослав работает на прежнем месте.

- А какие опасности вы пережили, когда ехали? - перебила я.

- Сразу же, когда проезжали через Ковель, то его уже занимали большевики, - начала рассказывать Леля. - Мы выехали на одну улицу и удивлялись, почему она совершенно пустая. Оказалось, что на одном конце ее засели поляки, а на другой большевики. Шла перестрелка. Мимо нас свистели пули, но в нас специально, наверное, не целили, и мы счастливо проскочили. А потом немцы не хотели нас пропустить. Ни за что не хотели, пока Валентин не пошел к офицерам и не убедил их. Ну, да он сам тебе расскажет. А вот как это вы, каким чудом, перебрались через границу? Здесь говорят, что это почти невозможно. Что мама и все наши, что думают делать?

После короткого разговора, я, мучимая нетерпением, спросила:

- А как же можно в Ченстохову добраться?

- Поездом, как обыкновенно, - ответила Леля.

- Поездом, а разве они ходят? - Мне это показалось почему-то невероятным, несмотря на то, что мы сами приехали поездом.

Не задерживаясь в Варшаве, мы на следующий день, утром, уехали в Ченстохову.

Юрочка остался на несколько дней у Лели, чтобы передохнуть, перед обратным переходом границы. Ему, как молодому человеку, это было очень опасно, и он видимо волновался, мучимый недобрыми предчувствиями.

В Ченстохове маленькая захудалая лошаденка извозчика целую вечность тащила нас к дому, где жили Шрамченки.

Сердце мое стучало громче и сильнее, чем стук Маруси в двери. Нам казалось, что звонок не действует.

Открыл двери Святослав и отступил, словно увидел привидения.

- Вы ли это? Возможно ли? Все равно как с того света! - Валя, посмотри, кто приехал! - восклицал пораженный Святослав.

Валентин Михайлович не показывался.

- Где он? - крикнула я, и, не дожидаясь ответа, устремилась вперед. Пробежав большую комнату, я увидела в середине квартиры темный коридор. В конце его стоял столик, на нем светилась лампа, хотя был день, и над раскрытою книгою, обхватив руками голову, согнувшись, сидел мой муж.

Он не встал, не обрадовался, а только, еще ниже опустил голову, и листы книги покрылись мокрыми пятнами слез. Первый раз в жизни, я видела его плачущим.

Наклонившись, я прижалась губами к его волосам и он, словно преодолевая что-то, тихо сказал:

- Я думал, что никогда в жизни больше вас не увижу. Теперь я знаю, что еще надо жить и есть для кого и чего.

Опомнившись от первого, тяжелого впечатления, которое произвел на меня вид и состояние Валентина Михайловича, стараясь это скрыть от него, я потом спросила Святослава:

- Что такое с Валею, почему он не сидит в комнате, где светло, а в темном коридоре, днем, при лампе?

- Да, вот, он теперь такой странный. Забился в темный угол, никуда и никогда не выходит, точно света Божьего боится. Счастье, что вы приехали, а то я совсем не знал, что с ним делать.

Мой муж был в глубоко подавленном состоянии духа. Прошло несколько недель, пока он постепенно вернулся к более нормальному своему состоянию.

Жизнь тем временем требовала своего. С первых же дней появилось множество забот и обострившихся нужд. Деньги наши тратились не пополняясь. Начали мы с мужем бегать по каким-то "делам", что-то искать, а что, и сами не знали. Найти какую-либо службу без основательного знания польского или немецкого языка и без профессии было невозможно. Никакой физической работы, благодаря инвалидности, Валентин Михайлович тоже не мог делать. К тому же это нам и в голову не приходило. Тогда мы еще не имели никакого представления о жизни эмигрантов за границей. Бегая по "делам", Валентин Михайлович встретил одного русского помещика-старика по фамилии Демонтовича. Имение его находилось, где-то в глуши не очень далеко от Ченстоховы.

Узнав о нашем положении, он предложил мужу:

- Если вам будет очень тяжело и некуда деваться, то приезжайте ко мне. Я могу уступить вам одну комнату.

Жизнь в Ченстохове дорожала; провизии становилось все меньше и меньше. Святослав, достававший все нужное в знакомых лавках, начал жаловаться, что ему в большом количестве отпускать больше не хотят, и что мы сами должны постараться где-то добывать себе свой хлеб насущный.

Надеясь, что в деревне легче и дешевле можно прожить, мы, после долгих колебаний, решили воспользоваться приглашением Демонтовича.

Зима в тот год - 1940-й - стояла исключительно суровая. Страшно было и на минутку выйти из дому. В трескучий мороз, на нанятых лошадях, дрожа от холода и прижавшись

для большего тепла друг к другу, мы к вечеру добрались в усадьбу Демонтовича. Принял от нас не особенно любезно. Когда я поставила Олега на стул в передней, чтобы освободить его из плета, наш хозяин произнес:

- Ну, вот и его величество ребенок! Где он, там все преклоняйся. Теперь я в своем доме должен отойти на задний план.

Демонтович провёл нас в большую, длинную комнату, где был зверский холод. Печка за всю зиму ни разу не протапливалась. Демонтович утешил нас, что она в порядке и что завтра он выдаст нам уголь на три дня, а потом сами мы должны будем его доставать.

- Комнату я вам обещал, и вы ее имеете, но больше я ничем вам помочь не могу и, пожалуйста, ни с чем ко мне не обращайтесь, - закончил господин Демонтович, уходя и оставляя нас в холоде, голоде, и глубоком унынии.

И действительно, за все время нашего у него пребывания, он не продал нам ни стакана молока, ни куска хлеба, ни одной картошки.

Демонтович был холостяк и совсем с большими странностями, одинокий. Кроме него, в доме жила глубокая старуха, прислуживавшая ему. Помещалась она в кухне, где стояла железная плитка на два кружка. На одном она варила для хозяина и себя, а на другом было разрешено готовить мне.

- Вы понимаете, какое ваше теперь положение? Оно хуже, чем у любой собаки. Она имеет дом и хозяина, а вы что? - сказала мне старуха в один из первых дней.

Покраснев от обиды, я подумала, что мы попали, как в страшной сказке, в дом к Бабе-Яге, и в первый раз осознала всю безвыходность нашего положения. Впрочем, никогда больше она так не говорила и постепенно смягчилась.

В доме было много комнат, но все они были замкнуты и, вероятно, так же запущены, как столовая, через которую нам надо было проходить. В первый раз, когда я рассеянно вошла туда, мне показалось, что пол комнаты устлан был серым ковром, но, оглядевшись, я с неописуемым изумлением увидела, что это был густой слой слежавшейся пыли, похожей на войлок.

"Бывают же на свете еще такие чудеса", подумала я, осторожно проходя и высоко подымая ноги.

Воспользовавшись первым днем, когда наш хозяин уехал в город, мы с дочерью решили очистить столовую. Набирая, ведрами сухой, морозный снег, мы вносили его туда, мешали с пылью и выносили вон. Температура в комнате была ниже нуля, снег не таял, и нам совершенно насухо удалось прибрать столовую.

Когда Демонтович вернулся, он, схватившись обеими руками за голову, в отчаянии закричал:

- Что вы наделали! Я годами, долгими годами не позволял, чтобы хоть капелька воды упала на пол, а вы целую комнату пропитали водой. В доме грибок и если его намочить, то он сгниет.

Успокоился он с трудом только тогда, когда я ему объяснила, каким способом мы убрали пыль.

"Да ведь наш Демонтович настоящий Плюшкин, - наконец догадались мы, самый яркий пример его; ни в чем, ни в чем, ни в чем не изменившийся Плюшкин".

Хозяйство в имении было также запущено, как и дом. Валентин Михайлович неоднократно предлагал Демонтовичу помочь ему в благодарность за то, что он приютил нас. Но Демонтович категорически отказывался. Между тем, немцы грозили реквизируют имение, потому что оно не могло доставить требуемого количества

продуктов.

В один из ярких, морозных дней я собралась пойти в деревню за молоком и взяла с собою Олега. Барахтаясь с ним на руках, по колени в снегу и ослепленная горящим холодом морозных искр, я, наконец выбралась на дорогу, и когда, опустив Олега с рук, выпрямилась, то увидела, идущих прямо мне навстречу, немцев. Двое были в военной форме, а третий, высокий, уже пожилой, но очень представительный, в шубе и котиковой шапке. Поравнявшись со мной, он громко произнес:

- Красивая женщина.

Смутясь, я гордо - "по-ромейски" - прошла мимо с устремленными вперед глазами. "Что он мог найти во мне теперь красивого?" - подумала я, далекая от каких бы то ни было легких мыслей. Выходя, я повязала голову розовым платочком, но, боясь, что будет холодно, насунула поверх его, белую, вязаную, шапочку Олега. Она была мала и торчала, как шиш, на затылке.

Когда вернулась домой, то нашла мужа в сердитом настроении.

- И чего ты лазишь? Нашел тебе место, где сидеть и сиди себе тихонько, не время теперь скакать. Здесь был начальник земельного округа, хотят взять имение Демонтовича под контроль. Встретив тебя, расспросили у Демонтовича, кто мы, откуда и почему здесь. Конечно, он и выложил им все, как по писанному. Меня это все очень беспокоит, - недовольно бурчал Валентин Михайлович.

Несколько дней спустя, он получил официальную бумагу с предложением, не ожидающим отказа, явиться к администратору большого соседнего имения, реквизируемого, немцами. Валентин Михайлович очень волновался, не зная, что это может значить.

Утром на третий день он отправился пешком туда и потом назад по занесенной снегом дороге.

Целый день я поминутно подбегала к окну, в волнении поджидая его. Наконец, под вечер увидела на дороге его высокую, сильную фигуру, характерно склоненную на левый бок, рука которого напряженно опиралась о крючковатую палку.

Открывая мужу двери, спросила:

- Ну, как ты, почему так долго был. Что там такое?

- Устал, страшно устал. Думал никогда не доберусь. Обожди, отдохну немного. Пройдя в нашу комнату, он сел на край кровати. Снял протез. Вид его натертых ран отшиб всякую охоту что-либо спрашивать.

- Дай чего-нибудь напиться, - сказал он, обмотав ногу и, немного передохнув, начал:

- Это верст пять отсюда будет. Дорога,.. какая там дорога: глубокие прорезы от саней; груды выброшенного снега; рытвины. Целый день вытягивал оттуда ноги.

- Никто не подвез? - спросила я.

- Никто. Ехали, но я не просил.

- А зачем они тебя туда вызывали?

- Они, кажется, хотят назначить меня помощником к администратору. Он, конечно, немец, но симпатичный и неглупый. Пожилой уже, не военный. Он очень доволен, что я знаю сельское хозяйство. Из разговора я понял, что сам он в нём не смыслит, но скрывает это. Поэтому был бы рад получить сведущего помощника.

- Ах, Валечка, как бы хорошо было, если бы ты получил там место, - воскликнула я.

- Да, я то же думаю. Он еще заявил, что я, как русский подхожу им потому, что буду беспристрастным в отношениях между поляками-рабочими и ими немцами; а, как старый

эмигрант, потерявший родину, я стою в стороне от всей современной политики. Одним словом, мы остались вполне довольны друг другом. При прощании он сказал, что почти уверен в моем назначении туда на службу. На этом настаивает начальник округа. Вот видишь, как все оборачивается. Я, понятно, согласился. Да отказываться, наверное, и нельзя.

- Зачем же отказываться? Это так повезло, такое счастье. Уехали бы отсюда. Они же дадут нам помещение и пропитание, а может и жалование, не правда ли?

- Да, конечно. Но подожди еще радоваться. Все это выяснится окончательно только весной.

Весной мы переехали в имение Дембовку, куда Валентин Михайлович был назначен, как управляющий, в помощь администратору герр Циммерманну. Герр Циммерманн был среднего роста, полный, красный и добродушный немецкий бюргер. Военным он никогда не был и в сельском хозяйстве тоже ничего не понимал, но старался делать все, что мог, усердно и прилежно.

Валентин Михайлович попал в знакомую ему обстановку, быстро вошел в колею и добросовестно и честно погрузился в работу. Характерное для него умение ладить с людьми, гуманность в отношении к рабочим и лояльность к сослуживцам и начальникам, очень помогли ему в этот период жизни. Сразу же он нашел старика-поляка, профессионала в сельском хозяйстве, и с его помощью в непродолжительное время, привел имение в образцовый порядок. Все рабочие и сослуживцы были поляки, а администрация - немцы. Мужу приходилось быть между ними чем-то вроде буфера: сглаживать враждебность, затушевывать недоразумения. Это ценилось как одними, так и другими.

Я тоже занялась устройством нашего маленького, домашнего хозяйства. В помощь мне дали одну прислугу. Жизнь наша понемногу налаживалась.

Погруженные в заботы повседневной жизни, мы избегали думать о будущем. На Западе Европы кипела война. В ней Советский Союз оставался нейтральным. Поток исторических событий мчался временно мимо нас.

Так маленькая былинка, отброшенная бурным потоком к тихому берегу, застрянет там, пока новая волна не подхватит и не понесет ее, швыряя то на гребень волны, то в бездонную пучину; и кто может предвидеть: разобьет ли ее поток о подводные камни, выбросит ли, хлестнув волной, на берег, или занесет далеко на бездонные шири океана. Забившись в захолустную деревню, ждали и мы так своей участи и конца этой непонятной нам войны.

Разделив Польшу, Советский Союз и Германия заключили между собою, казалось, крепкий и долговременный союз. Все поверили в дружбу двух великих держав, не имевших, по-видимому, никаких причин к несогласию, а тем более к вражде.

В начале июня 1941-го года на дороге, идущей мимо усадьбы, показались тусклые, серо-зеленые, как дальний лес в ненастную погоду, вереницы немецких солдат. Они шли, торопясь, подгоняя лошадей, подталкивая ленивые пушки, подпирая, клонившиеся на выбоинах дороги, грузовики. Шли без конца, без числа, шли полные неудержимого стремления вперед; топтали, месили землю грунтовой дороги, превращая ее в непроходимые ямы и ухабы.

- Куда это они, что это будет?- в страхе шептались кругом.

Ответ скоро пришел. Как гром с чистого неба, прокатилась весть.

Война с Советским Союзом.

Удар немцев был так неожидан и так стремителен, что не предупрежденная и неподготовленная к нему, Красная Армия бросилась в хаосе отступить. Не знаю теперь, каким образом к нам дошли потом слухи, что сам Сталин несколько дней не верил или не хотел поверить в нападение немцев.

Проходили первые недели войны. Наряду с пленными, захваченными немцами, появились перебежчики и пленные добровольные. Они рассказывали, что в деревнях крестьяне вытаскивают спрятанные иконы и с ними и с хлебом и солью встречают немцев, видя в них избавителей от Сталинского режима.

Но не только мужики, не они одни тогда так думали. У многих русских в начале войны были наивные надежды, что война может способствовать свержению сталинской власти, и немцы поневоле помогут России освобождению от нее. А потом легче будет излечиться от внешних ран и внутренних.

Вскоре выяснилось, что русские тысячами сдаются в плен, не хотят воевать. Красная Армия продолжала отступать почти без сопротивления и без значительных боев.

Немцы, окрыленные, ничего не стоящими победами, расплывались по необъятным просторам России. "Едешь день, едешь два-три, - а все кажется, что стоишь на одном месте. Вокруг все та же степь и ширь беспредельные, и та же даль впереди, неудержимо манящая", - рассказывал один немец, захвативший к герр Циммерманну, вернувшись из России.

Несмотря на то, что теперь немцы воевали против Советского Союза, Герр Циммерманн относился к нам по-прежнему с большой симпатией и пониманием нашего положения.

- Вы знаете, Валентин Михайлович, мой дядя с семьей жили до революции постоянно в России. Они часто вспоминали и скучали о ней, несмотря на то, что там, как они говорили, всегда подсмеивались над немцами. Их считали мелочными, скупыми, прямолинейными и до глупости упрямыми, - говорил наш администратор, но добродушно, без раздражения.

- Интересно, что теперь там говорят. Вот уже эти "глупые" немцы к Киеву подходят. А вы, Валентин Михайлович, что на это скажете? - закончил он, скромно, стараясь не показывать своего торжества.

- Я что скажу. Вот на днях я слышал, что говорят поляки: "Идут-то они, идут, а вернутся

ли? Наполеон тоже до Москвы дошел.

- Да, но они забывают, что у Наполеона не было наших немецких танков и бомбовозов. Разве можно сравнивать? Теперь совсем другие способы и условия войны, - уверенно и, весело засмеявшись, сказал герр Циммерманн.

С продвижением немцев вперед открылась связь с бывшей восточной Польшей. Начали показываться люди с наших сторон. Надеюсь узнать, об участии моих родных, оставшихся в Ромейках, я поехала к Леле в Варшаву. Там, от случайных свидетелей мы узнали о той страшной трагедии, которая постигла всех в Ромейках, вскоре после нашего оттуда бегства.

Началось с того, что в Сарнах арестовали Павлика, поступившего на службу в госпиталь, где работала его жена.

Узнав об этом, мама в тот же час отправилась в Сарны.

Там её схватили и замкнули в вагон товарного поезда. Так, как она стояла; так, как она второпях вышла из дому, не одевшись тепло, не взяв с собою ничего, думая только об одном: скорее увидеть сына, выяснить его невиновность, спасти.

Когда мама сидела без еды, без питья, в холоде и выглядывала через маленькое окошечко вверху вагона, ее увидели, случайно проходившие мимо и переехавшие жить в Сарны, Неревичи. Они протолкнули ей через окошечко кое-что из еды и одежды. Только с этим, через три дня, советы увезли нашу маму в Сибирь.

Туда же, спустя некоторое время, отправили и Олю, жену Павлика. Его же самого потом видели в тюрьме, когда после пыток его несли на носилках в бессознательном состоянии.

В тот же самый день, когда в Сарнах была арестована мама, НКВД явилось ночью на Высокое, и увели Володю и Яшу. Одновременно, не давая времени захватить с собою самые необходимые вещи, забрали жену и детей Володи и отправили их в Казахстан. Знакомые евреи из Антоновки видели потом Володю и Яшу в ужасном состоянии: замученных, обросших бородами и босиком, когда их перегоняли из одной тюрьмы в другую. Был продемонстрирован показательный суд над ними, на нем они были объявлены врагами народа. Не удивительно, что Володя не выдержал и почти лишился рассудка. Рассказывали, что он одно время, с уставленными в одну точку глазами, беспрестанно твердил:

"Лиля! (его дочь) часы, часы. Лиля часы, часы, часы..."

Я думаю, что у него в памяти запечатлелся момент разгрома его семьи и дома, когда он напоминал дочери не забыть и взять с собою старинные, дедовские часы.

Среди мужиков, свидетельствовавших против Володи и Яши на суде, главным обвинителем был Антон - наш долголетний и "преданный" сторож. Не прошло много времени со дня суда, как Антон и вся его "хата" вымерли от сыпного тифа, эпидемия

которого захватила Ромейки. Долго потом рассказывали суеверные ромейцы, как наказал Бог Антона за его лжесвидетельство против безвинных панов.

Горькая судьба постигла и Юрочку. Он был схвачен большевиками при обратном переходе границы и отправлен в Архангельск. Оттуда Юрочка писал отчаянные письма Даниле, нашему кучеру, с просьбой посылать ему посылки с провизией. Неизвестно, посылал ли ему Данило что-либо, или нет, но известно то, что через некоторое время, Юрочка замолк навеки.

После долгих истязаний и перебрасываний по тюрьмам так же трагически погибли Яша и Павлик. Их выгнали под обстрел немцев на минированные поля. Там оба они и полегли. О том, как окончилась жизнь Володи, мы узнали несколько лет спустя. Его долго гоняли из одной тюрьмы в другую, пока совершенно замученного и истощенного до полусмерти, выбросили, где-то в центральной России, без денег, без карточек на пропитание. Вскоре после этого он умер с голоду.

В прощальном письме, оставленном Володею детям, он, между прочим, писал: "Как жил я и что ел в последние дни моей жизни, я вам не скажу, чтобы, когда будете вспоминать, ваше представление обо мне не связывалось бы с отвращением"...

Так горестно прожил и страдальчески ушел из этого мира один из самых верных и преданных сынов своей родины. Он ли один? Миллионы лучших русских людей разделили с ним подобную участь.

Помянет ли история этих неизвестных героев-мучеников или затрут память о них те, кому это служит вечным позором преступления.

Вернувшись из Варшавы, я долго ходила с мучительной болью в душе за горестную участь, постигшую моих родных в Ромейках и с угрызением совести за свое спасение и благополучие и за гибель проводившего нас брата Юрочки, в которой я чувствовала себя косвенно виноватой.

Почти каждому человеку представляются в жизни случаи, когда он может поддержать и спасти от несчастья близкого или постороннего ему человека; и наоборот: он может каким-либо необдуманном, на вид незначительным, поступком, а то и словами, не только сделать его несчастным, но и привести к гибели.

Понимание и сознание совершенного зла приходит только тогда, когда оно сделано, и часто непоправимо и когда ни раскаяние, ни угрызение совести, ни слезы, и мучения ничего не помогут.

Как осторожно, как заботливо мы должны относиться к окружающим нас, людям и их жизни. В своём легкомысленном эгоизме, я тогда этого не понимала, стараясь спасти жизнь своей семьи и свою, я мало думала и заботилась о других родных и дорогих мне людях.

О том, как развивались дальше события, и какие формы стала принимать война в

Советском Союзе, мы узнавали в общих чертах от хорошо осведомленных поляков. Они рассказывали, что десятки тысяч русских пленных, как взятых немцами, так и добровольно сдавшихся, умирали в мучениях от голода под открытым небом в пустынных местах, обнесенных проволокою. От поляков же стало нам известно и о массовых истреблениях евреев. Вскоре всем стала понятна и цель начатой Гитлером против Советского Союза войны. Это был все тот же многовековый миф немцев о покорении, если не всей России, то хотя бы ее юга и о порабощении русского народа, как расы низшей.

Вполне естественно, какое глубокое негодование и героическое противодействие это вызвало со стороны русских.

Никто больше не встречал немцев с хлебом и солью, а наоборот, население уходило в глубь страны, забирая с собою, что было возможно.

Никто больше не сдавался им в плен, а по всей линии фронта началось упорное сопротивление. О том, что происходило тогда, в глубине России, мы мало знали, известно нам стало об этом только позднее. В то грозное для России время, даже Сталин, изменяя своим принципам, и обещая народу свободу, призывал его к патриотизму. Его всемогущая пропагандная машина говорила о любви к Родине, напоминала о великом прошлом России, ставила в пример его героев-защитников Суворова, Кутузова и других.

На помощь пришел главный защитник России, генерал мороз, особенно свирепствовавший в первую зиму войны. Немцы гибли, замерзая на позициях. А в другие времена года в рытвинах и грязи грунтовых дорог, тонули немецкие танки и грузовики, задерживая снабжение армии, растянувшейся на неизмеримые пространства России. Бои, принимавшие все более и более ожесточенный характер, завершились победами русских под Москвой, Сталинградом, Курском и в других местах.

За исключением немногих, общеизвестных исторических фактов, я не думала в этой книге, и это совершенно не в моей компетенции, вдаваться в историю, как первой, так и второй мировой войны, а также историю тех событий, огромного мирового значения, которые произошли за время моей жизни. Здесь я хотела только рассказать, как отразились эти сдвиги истории на жизни моих родных и моей личной, рассказать искренне и правдиво обо всем том, что пережили они и я сама, что видела своими глазами, слышала своими ушами и что знала от других, современных мне, людей. Однажды вечером, когда я стояла на кухне, дверь открылась, и вошла уже очень пожилая женщина. Взглянув на нее, я подумала, что это одна из местных крестьянок. Она выглядела, словно только что вышла из дому: плечи её покрывал маленький платочек, а юбку рабочий передник.

- Здравствуйтесь, милая, - сказала она, - я доведальсь, что вы говорите по-нашему

по-русски, и пришла к вам с великою просьбою. Объясните им, немцам, про мою беду. Я то им говорю по-хорошему, по-нашему, а они болбочут невесть что такое. Привезли они меня сюда на село. Не знаю, что и за сторонюшка это такая. Привезли, вишь, с нашими людьми, да только все мужчины, я одна промеж них женщина, срам один, сами понимаете, - жаловалась она.

- Кто ж ты такая? И откуда, и почему они тебя сюда привезли? - спросила я с удивлением.

- Да вот подите ж, я и сама ума не приложу. Сидела это я себе в хате, дома, колыхала внучку, да картошку обирала. Ан, слышу говор и топот на улице. Накинула я вот этот платочек и выбежала. Вижу, ведут это немцы наших людей, да не солдат. Я возьми да и спроси: "А что это вы за люди и куда это вас ведут?" - тут немец за меня и тащит. Я вырваться, а он меня кулаком, не пускает; я и просила, я и молила, я и плакала - ничто не помогло. Притянули на станцию и в поезд, и вот привезли сюда.

- Объясните им милая, что я ни сном, ни духом не виновата. Чтоб только отпустили меня с Богом. У меня и детки и внучки и хозяйство - ведомо как. Я бы и пешком зашла, за одну ноченьку, долетела бы как на крыльях.

Слушала я её, а помочь ничем не помогла. Обещала только утром поговорить с немцами, а утром еще на рассвете их угнали куда-то дальше.

Поляки на другой день объяснили, что немцы ловят в России, Польше среди мирного населения людей и отправляют их в Германию на принудительные работы, где обращаются, как с рабами.

И опять прошла я мимо несчастной женщины, что обратилась ко мне с просьбой о помощи; а ведь, если бы почувствовала и подумала глубже, то, наверное, могла бы ей чем-либо помочь.

Удивительно, что, несмотря на мою легкомысленность, у меня бывали как бы независимые от меня, минуты душевного просветления. Странно, что происходили они всегда накануне самых опасных, переходных этапов моей жизни. Случилось это опять, когда я однажды поехала с Олегом за лошадьми в Ченстохову. Мы ехали по главной и очень длинной улице. В голубой перспективе ее, я увидела высоко на холме, словно в воздухе маячивший, храм. "А ведь это же и есть, наверное, Ясная Гура, где находится известная икона Божьей Матери, называемая Черной Мадонной; как это я раньше никогда об этом не догадалась, а столько раз здесь бывала и видела", подумала я и велела кучеру туда ехать. Пустой, полутемный храм тревожаще-гулко отозвался на звук наших с Олегом шагов. Мы присели на одну из ближайших скамеек. Чего-то ища, я стала вглядываться в высоко висящий Образ Черной Мадонны. Свет лампы не мог выявить её темного Лица, окутанного тайной непроницаемостью. "А разве можно человеческими глазами видеть Дух Божий? - думала я, - Божественный Дух творящий, материнской любви мира?"... и молилась опять, как когда-то в Почаеве, как когда-то и в других случаях, всеми силами моей души. Вдруг, мне почувствовалось или померещилось, что если я сделаю ещё хоть одно усилие в моем молитвенном экстазе, то душа моя, покинув меня, вернется туда, откуда она, наверное, пришла.

Испуганно встрепенувшись, я встала, взяла сына за руку и вышла из храма.

Лето 1944-го года было последним, проведенным нами в Польше. Немецкая армия, как смертельно раненный зверь, отступала назад. Следом за ней с боями и интервалами продвигалась к границам Польши армия русская.

С какою гордостью и радостью ожидали бы мы ее прихода при всяком другом

правительстве России. Увы, теперь приближение Красной Армии несло нам с собою, как и многим тысячам русских, новые испытания и новые угрозы гибели.

Напуганные судьбою, постигшею моих родных в Ромейках и горьким опытом бегства в 1939-м году, мы с Валентином Михайловичем начали думать о необходимости дальнейшего и более своевременного бегства на запад Европы.

Залитые горячим светом солнца, летние дни шли тогда у нас своей обычной, спокойной чередой. Неподвижно дремали липы, вея запахом своих нежно-кремовых цветов.

Впиваясь в их пушистые звездочки, гудели рои пчел. В небе таяли, остановившись, редкие облачка. Все застыло, как изваянное в ленивой дремоте этого знойного дня.

Недалеко от дома, в прохладной тени лип, Елена, пригибая ветви вниз, помогала мне срывать цветы на "чай", а Олег, пыхтя от старания, складывал их в корзинку.

Оттуда было видно, как по дороге, оставляя за собою мелкие барашки пыли, ехал на линейке Валентин Михайлович. Приблизившись, он передал вспотевшую лошадь кучеру и подошел к нам.

Ни спокойное очарование этого летнего дня, ни наше мирное занятие - ничто не могло разогнать грусти на озабоченном лице мужа. Никогда в те времена я не слыхала его смех. Смех в нашей семье сделался непозволительным, а в присутствии Валентина Михайловича резал ухо как диссонанс к чему-то.

- И что вы здесь все копошитесь, как мурашки, зачем это делаете. Все это теперь уже не нужно, - сказал муж, и немного помолчав, добавил, - да, вот только вы и заставляете двигаться, а то бы..., - и он безнадежно махнул рукой.

Красная армия занимала восточные пределы Польши.

[Глава 12](#)